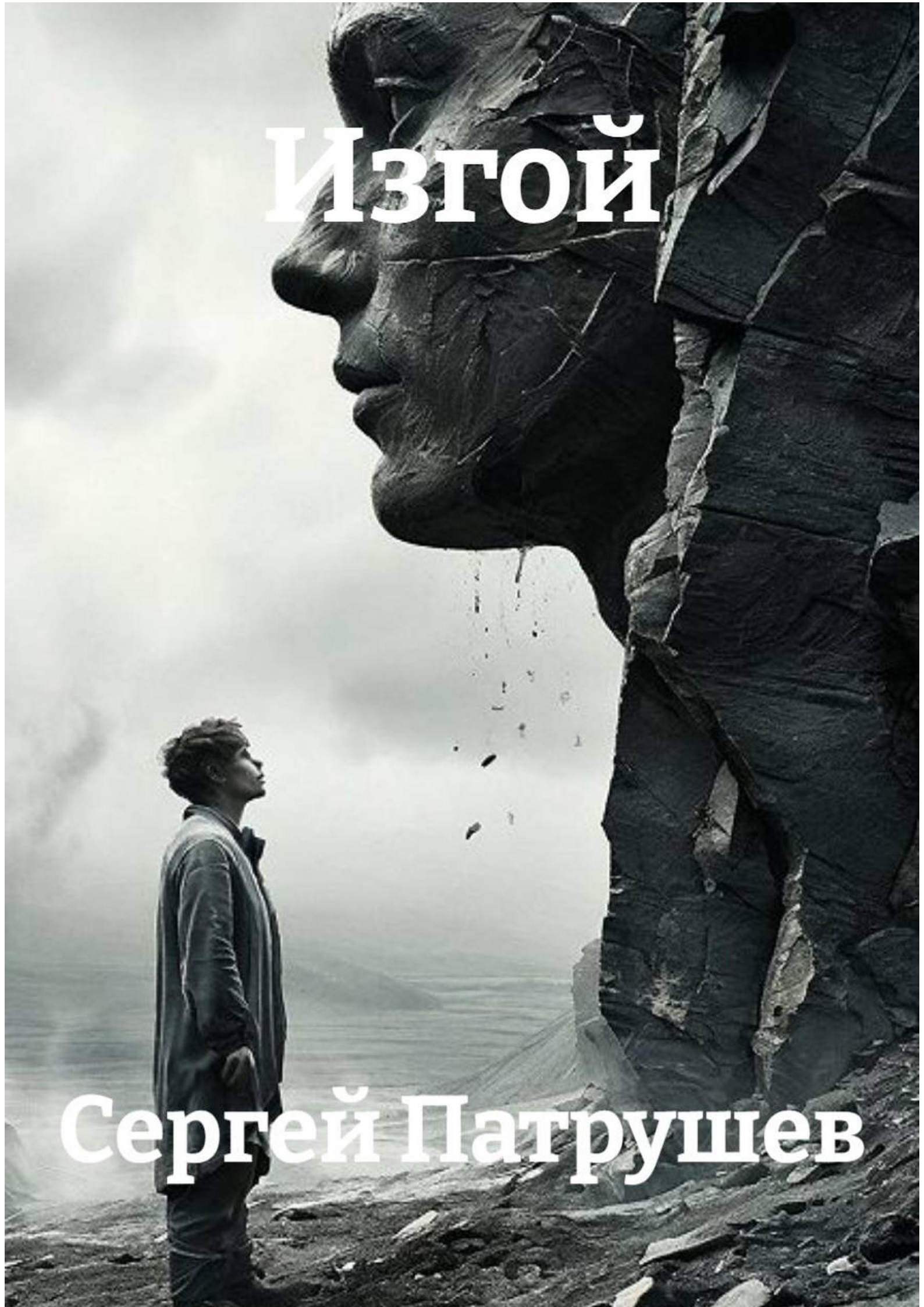


Изгой



Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Изгой

«Автор»

2026

Патрушев С.

Изгой / С. Патрушев — «Автор», 2026

Ландер Рэйтел — ведущий учёный Института Прикладной Бионики. Пятнадцать лет он служил Системе, пока не совершил непростительное: подошёл слишком близко к открытию, способному изменить человечество. Его исследования объявлены ересью, имя стёрто, идентификационный чип уничтожен. В одно мгновение он превращается в ничто — пыль на ветру, выброшенную за стерильные стены «Альфы» в токсичные трущобы «Гаммы». Здесь, среди изгоев и отверженных, Ландер должен забыть всё, чему учился и выучить новый язык — язык дна, но когда он обнаруживает страшную тайну Системы — запасы ресурсов, спрятанные для избранных и план уничтожения миллионов — печаль и апатия сменяются холодной яростью. Учёный становится голосом безмолвных, а его знания — оружием. Изгой — мрачная научно-фантастическая антиутопия о предательстве и искуплении, о цене истины и о том, что даже пыль, спрессованная под давлением, способна превратиться в скалу.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пыль на ветру	5
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Сергей Патрушев

Изгой

Глава 1. Пыль на ветру

Вентиляция гудела на одной ноте — низкой, утробной, вибрирующей где-то на границе слышимости, словно огромное здание пыталось переварить нечто несъедобное, застрявшее в его металлическом пищеводе. Этот звук Ландер знал с той самой минуты, когда пятнадцатилетним подростком, выигравшим национальную олимпиаду по молекулярной биологии, впервые переступил порог Центрального Института Прикладной Бионики. Тогда гул казался ему голосом прогресса — басовитым, уверенным, обещающим великие открытия. Теперь, спустя пятнадцать лет, он слышал в нем совсем другое: скрежет зубов, равнодушное урчание сытого зверя, который только что проглотил очередную жертву и даже не заметил ее вкуса.

Он стоял посреди своего кабинета и смотрел на пустой стол. Не просто прибранный — выпотрошенный, выскобленный, вылизанный до стерильного блеска, словно операционная после смертельного исхода. Исчезли голографические рамки с дипломами — теми самыми, что когда-то вручал ему лично Председатель Ученого Совета, пожимая руку и говоря что-то о надежде нации и светоче науки. Исчез проекционный кристалл с незаконченной моделью протеиновой цепи — той самой, которую он растил и пестовал последние три года, просыпаясь среди ночи, чтобы проверить очередную итерацию расчетов. Исчезла даже чашка с эмблемой лаборатории — старая, керамическая, с трещиной на боку, которую ему подарили коллеги на десятилетие работы. Он помнил тот день: они собрались в комнате отдыха, пили синтетическое шампанское из пластиковых стаканчиков, а Элайза, его ассистентка, толкнула короткую, но теплую речь о том, что работать с ним — честь и привилегия. Где теперь Элайза? Отвела взгляд в коридоре, как и все остальные.

Пятнадцать лет жизни. Пять тысяч четыреста семьдесят девять дней — он подсчитал как-то от скуки, застряв в карантинном боксе во время очередной эпидемиологической тревоги. Пять тысяч дней, наполненных работой, спорами до хрипоты с оппонентами, холодным кофе в четыре утра, когда до дедлайна оставались считанные часы, и тем особым, ни с чем не сравнимым чувством, когда формула вдруг складывается, цифры перестают врать, а на экране симулятора расцветает именно то, что ты искал. Пятнадцать лет — и ни единого следа. Будто здесь никогда никто не сидел, не дышал, не жил. Будто Ландера Рэйтела никогда не существовало.

Он провел ладонью по столешнице. Пластик был холодным и гладким, без единой царапины — наверное, прошлись реставрационным составом, чтобы стереть даже молекулярные следы его присутствия. В Институте умели замечать следы. Этому их научили десятилетия практики: когда очередной неугодный исследователь исчезал из стен заведения, вместе с ним исчезало всё, что могло напомнить о его существовании. Файлы из архивов, фотографии из баз данных, упоминания в протоколах совещаний. Чисто. Стерильно. Безупречно.

Формулы. Вот из-за чего всё началось. Или закончилось — с какой стороны посмотреть. Ландер усмехнулся про себя: вопрос перспективы всегда был его слабым местом. Еще в школе учительница математики говорила, что он смотрит на мир под неправильным углом. «Рэител, — вздыхала она, — ты видишь то, чего нет». Потом, когда он поступил в Университет, про-

фессор Танака сказал прямо противоположное: «Рэйтел, ты видишь то, что другие отказываются замечать». Два мнения, два угла, а истина, как всегда, болталась где-то посередине. Он действительно видел то, чего не видели другие — но не потому, что обладал каким-то особым зрением, а потому, что не боялся заглядывать за черту, прочерченную кем-то другим.

Ландер машинально потер запястье. Под тканью рукава еще прощупывалась полоска идентификационного чипа — крошечная, почти незаметная, вживленная каждому гражданину при рождении. Три миллиметра в длину, полтора в ширину, оболочка из биосовместимого полимера, внутри — микросхема, содержащая всю информацию, которая только могла понадобиться Системе. Имя, статус, уровень доступа, генетический профиль, история перемещений вплоть до минуты, медицинские показатели в реальном времени, кредитный рейтинг, социальный индекс, список контактов, частота сердечных сокращений, уровень кортизола, биохимический состав пота. Чип знал о нем больше, чем он сам. Чип был им — в том смысле, в каком личность гражданина вообще существовала для государства. Без чипа ты не мог купить еду, войти в транспорт, получить медицинскую помощь, пересечь границу сектора. Без чипа ты переставал существовать. Превращался в призрака, в статистическую погрешность, в ноль.

Он знал, что за ним наблюдают. Знал с той самой минуты, как в кабинет вошли двое из Службы Внутреннего Порядка — молчаливые,двигающиеся с той особой, текучей плавностью, которая свойственна людям, прошедшим спецподготовку. Они не открывали дверь — дверь открылась перед ними сама, подчиняясь дистанционной команде, на которую у рядовых сотрудников не было полномочий. Они вошли без стука, без предупреждения, без тени сомнения в своем праве здесь находиться. Одинаковые серые комбинезоны без знаков различия, одинаковые лица без выражения, одинаковые руки, спокойно лежащие вдоль тела, но готовые в любой момент метнуться к оружию, спрятанному в складках формы.

Они не представились. Им это было не нужно. Ландер узнал их не по лицам — он не помнил ни одного оперативника в лицо, они все были на одно лицо, — а по тому, как расступились сотрудники в коридоре. По тому, как стихли разговоры, словно кто-то нажал кнопку отключения звука. По тому, как в воздухе повисло липкое, удушливое молчание — то самое молчание, которое бывает перед грозой, когда воздух сгущается до плотности воды и каждый вдох дается с трудом.

— Ведущий научный сотрудник Ландер Рэйтел, — произнес первый. Это был не вопрос. Констатация факта. Голос у него оказался неожиданно высоким, почти женским, что странным образом делало его еще более жутким. Будто этот человек был собран из несовместимых частей: тело бойца, голос канцеляриста, глаза рептилии.

— Я слушаю, — ответил он тогда, еще не понимая, что слушать ему осталось недолго. Что все слова, которые прозвучат в ближайшие минуты, — не приглашение к диалогу, а ритуальная формула, предшествующая казни. Так палач зачитывает приговор, не ожидая от осужденного ни возражений, ни мольбы о пощаде.

Второй протянул планшет — тонкий, полупрозрачный лист полимера, который засветился при прикосновении. На экране проступил текст, сухой и канцелярский, составленный по всем правилам бюрократического искусства. Постановление Ученого Совета, номер такой-то, дата такая-то, подписи, печати, голографические отметки подлинности. «За грубое нарушение научной этики, фальсификацию экспериментальных данных и систематическое распространение идей, противоречащих фундаментальным принципам Центрального Кодекса,

ведущий научный сотрудник Лаборатории геномных исследований Ландер Рэйтел лишается звания, должности, привилегий и гражданского статуса с немедленным вступлением приговора в силу...»

Дальше Ландер не читал. Не потому, что не хотел знать подробностей — он как раз хотел, дотошность ученого требовала изучить каждый пункт, каждую формулировку, каждую запятую в этом документе. А потому, что буквы вдруг поплыли перед глазами, сливаясь в серую нечитаемую кашу. Пол качнулся под ногами — совершенно буквально, он почувствовал, как вибрирует бетонная плита перекрытия. Стены поплыли, теряя четкость очертаний. Вентиляционный гул превратился в оглушительный рев, бьющий по барабанным перепонкам. Ландеру вдруг показалось, что он падает — медленно, как в вязкой жидкости, не в силах ни за что ухватиться.

— Это ошибка, — сказал он. Голос прозвучал чужеродно, словно принадлежал кому-то другому — слабый, дрожащий, неуверенный. Он ненавидел себя за эту дрожь, за эту слабость, за то, что не смог сохранить достоинство в последние минуты своей прошлой жизни. — Я ничего не фальсифицировал. Мои расчеты верны. Я могу доказать. Дайте мне доступ к симулятору на десять минут, и я покажу вам протокол верификации. Там нет ошибки, понимаете? Нет.

Первый оперативник даже не моргнул. Его глаза — светло-серые, почти бесцветные, с вертикальными зрачками модифицированного человека — смотрели сквозь Ландера, словно тот был пустым местом. Возможно, для него так и было: еще полчаса, и Ландер Рэйтел действительно превратится в пустое место, в нулевую строку базы данных, в ничто.

— Ваше право на апелляцию аннулировано решением Совета, — произнес он тем же ровным, бесцветным голосом. — Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Данная процедура предусмотрена параграфом семнадцатым Статьи четвертой Центрального Кодекса в случаях, когда действия обвиняемого представляют прямую угрозу общественной безопасности.

— На каком основании? — Ландер услышал в своем голосе нечто, чего раньше никогда не было. Дрожь. Мелкую, противную, неконтролируемую дрожь, которая начиналась где-то в солнечном сплетении и волнами расходилась по всему телу. — Я требую открытого слушания. По закону я имею право на защиту, на адвоката, на ознакомление с материалами обвинения. Я работаю в этом Институте пятнадцать лет, у меня безупречный послужной список, шесть внедренных патентов, три государственные премии. Я... я имею право.

— Закон, — перебил второй, и в его тоне промелькнуло что-то похожее на брезгливость, на брезгливое недоумение, с каким взрослый слушает лепет ребенка, пытающегося объяснить, почему разбитая чашка — не его вина, — создан для тех, кто его соблюдает. Вы, господин Рэйтел, перешли черту. И теперь закон защищает общество от вас. Это единственное, что вам следует знать.

Перешел черту. Какая простая формулировка. Какая удобная, всеобъясняющая метафора. Перешел черту — и всё, обратного пути нет. Но какую именно черту он перешел? Ту, что провели полвека назад, когда мир, оправившись от Великого Коллапса, решил, что наука должна иметь границы? Ту, что отделяет дозволенные исследования от запретных? Или ту, за

которой начинается истина — неудобная, опасная, разрушительная для тех, кто привык считать себя вершиной эволюции и мерилom всех вещей?

Великий Коллапс. Событие, разделившее историю человечества на «до» и «после». Никто толком не знал, что именно произошло, — версии разнились от неудачного эксперимента с кварковой материей до целенаправленной атаки враждебного искусственного интеллекта. В учебниках писали туманно: «неконтролируемое развитие технологий привело к глобальной катастрофе, поставившей вид Homo Sapiens на грань вымирания». Выжившие — те немногие, кто успел укрыться в подземных убежищах и орбитальных станциях, — вынесли из катастрофы единственный урок: наука должна быть ограничена. Нельзя позволять исследователям заходить слишком далеко. Нельзя позволять им играть в богов, перекраивать геном, вмешиваться в фундаментальные основы жизни. Потому что последствия могут оказаться непредсказуемыми. Потому что цена ошибки — гибель всего вида.

Так родился Центральный Кодекс. Документ, который определил жизнь выживших на десятилетия вперед. Первая Статья — самая важная, не подлежащая пересмотру ни при каких обстоятельствах, — гласила: «Человек не имеет права изменять природу человека». Просто. Лаконично. Не допускает двойных толкований. Любое исследование, касающееся модификации человеческого генома, объявлялось вне закона. Любое — от безобидной генной терапии наследственных заболеваний до попыток улучшить когнитивные способности или физические параметры. Человек должен оставаться человеком — таким, каким его создала природа (или эволюция, что в контексте Кодекса считалось одним и тем же).

Ландер знал это. Знал с первого курса Университета, где Кодекс изучали как священное писание — с благоговением, с трепетом, с обязательной сдачей экзамена на знание всех статей и подпунктов. Знал — и всё равно продолжал. Потому что видел результаты. Потому что не мог остановиться, когда ответ был так близко. Потому что — и это, наверное, было самым главным — считал Кодекс ошибкой. Колоссальной, чудовищной ошибкой выживших, которые от страха перед прошлым закрыли дверь в будущее.

Последние пять лет Ландер работал над проектом «Грань». Название выбирал лично он, и выбрал не случайно — они действительно стояли на грани открытия, способного перевернуть все представления о человеческом организме. Регенерация тканей. Полноценная, управляемая, не ограниченная жалкими возможностями природы, которая умела заживлять мелкие царапины, но пасовала перед серьезными повреждениями. Он нашел способ — сначала теоретически, на кончике пера, а потом и экспериментально, в лабораторных условиях, — активировать спящие участки ДНК. Те самые, которые достались человечеству от далеких предков и молчали тысячелетиями, заблокированные эволюцией за ненадобностью. Гены, отвечающие за регенерацию. У ящериц они работали — ящерица отращивала хвост за считанные недели. У аксолотлей работали — аксолотль мог восстановить утраченную конечность целиком, с костями, мышцами, нервами. У человека они спали. Но Ландер нашел способ их разбудить.

Если верить расчетам — а Ландер верил, потому что проверил их сотни раз, прогнал через все возможные симуляции, перепроверил на трех независимых вычислительных кластерах, — методика позволяла восстанавливать утраченные конечности, заживлять смертельные раны, обращать вспять нейродегенеративные процессы, которые считались необратимыми. Болезнь Альцгеймера, Паркинсона, боковой амиотрофический склероз — всё, что веками считалось приговором, могло стать излечимым. Он видел результаты на животных. Лабораторные мыши с перебитым позвоночником через месяц бегали в колесе, и биопсия показывала пол-

ное восстановление нервных тканей. Обезьяна, которой ампутировали лапу, отрастила новую — пусть не полностью функциональную, пусть с дефектами моторики, но живую, с нервными окончаниями, с чувствительностью, с реакцией на раздражители. Он был в шаге от прорыва. В одном-единственном, крошечном, но таком важном шаге.

А потом пришли они.

Кто донес? Этот вопрос Ландер задавал себе снова и снова, перебирая в памяти лица коллег, их слова, их взгляды в последние дни перед арестом. Элайза? Нет, Элайза слишком многим была ему обязана — он вытащил ее из нижнего сектора, заметив способности на студенческой конференции, дал ей место в лаборатории, сделал своим главным ассистентом. Маркус, его многолетний оппонент, с которым они спорили на каждом совещании? Возможно — Маркус всегда считал проект «Грань» опасной авантюрой и не скрывал своего скепсиса. Но доноительство... это было не в его стиле. Маркус предпочитал открытую борьбу. Технический персонал, имевший доступ к лабораторным журналам? Система безопасности, автоматически проанализировавшая массив данных и выявившая аномальную активность? Последнее было самым вероятным — в Институте существовали алгоритмы, отслеживающие ключевые слова и паттерны, связанные с запрещенными исследованиями. Может быть, он просто стал неосторожен. Может быть, слишком увлекся и перестал замечать следы.

Теперь это не имело значения. Его вычислили. Выпотрошили. Выбросили.

— У вас есть час, чтобы покинуть территорию Института, — произнес первый оперативник, и в его голосе не было ни злобы, ни сочувствия, ни даже того холодного удовлетворения, которое обычно испытывают палачи при виде поверженной жертвы. Пустота. Абсолютная, вакуумная пустота, как в открытом космосе, где нет ни звуков, ни запахов, ни эмоций. — Личные вещи, не представляющие научной ценности, вы можете забрать. Всё остальное конфисковано в пользу Института.

— Мои исследования... — начал Ландер и осекся, потому что ответ был очевиден.

— Исследования уничтожены. Все носители, все записи, все биологические образцы. Приказ подписан Председателем Совета лично. Протокол уничтожения вам предъявят перед выходом для ознакомления и подписи.

Подписи. Бюрократия продолжала работать даже в момент казни. Он должен будет поставить подпись под документом, подтверждающим уничтожение пятнадцати лет его жизни. И он поставит — потому что выбора нет, потому что отказ от подписи ничего не изменит, только добавит проблем.

Час пролетел как одно мгновение. Странное свойство времени — в критические моменты оно либо растягивается, превращая секунды в вечность, либо схлопывается, и тогда часы проносятся мимо, не оставляя воспоминаний. Ландер шел по коридорам, которые знал наизусть — каждый поворот, каждую дверь, каждую трещину на пластиковой обшивке стен. Шел мимо дверей, за которыми остались годы работы, споры с коллегами, ночные бдения над расчетами, моменты триумфа, когда эксперимент удавался, и моменты отчаяния, когда всё шло прахом. Шел мимо коллег, которые отводили глаза. Кто-то делал вид, что увлеченно читает с планшета. Кто-то сворачивал в боковые коридоры, заметив его издали. Кто-то просто стоял, вжавшись в стену, и молча провожал его взглядом. Никто не подошел. Никто не сказал ни

слова. Никто даже не кивнул на прощание. Только тишина — та самая, которая бывает в операционной перед смертельным исходом, когда хирурги уже сделали всё, что могли, и теперь просто ждут, когда остановится сердце.

У выхода его ждали. Та же пара из СВП — бессменный эскорт, сопровождавший его от кабинета до последней двери, — и еще один человек. Этот отличался: белый халат поверх серого комбинезона, медицинский сканер в руке, выражение скуки на лице. Врач. Или техник. Или просто функционер, выполняющий рутинную процедуру — одну из многих в его рабочем дне. Так ветеринар на скотобойне ставит печать на туше, не задумываясь о том, что когда-то эта туша была живым существом.

— Запястье, — коротко приказал он, даже не глядя на Ландера.

Ландер знал, что сейчас произойдет. Знал — и до последнего надеялся, что это лишь формальность, что даже при изгнании сохраняют базовый идентификатор, позволяющий хотя бы получать продовольственный паек в нижних секторах. Он слышал о таких случаях: людей вышвыривали за черту, но оставляли минимальный статус — «гражданин низшей категории», «перемещенное лицо», что-то такое, что позволяло не умереть с голоду в первые же дни. Он ошибался. Его случай был иным. Его признали угрозой — и обошлись по высшему разряду.

Холодный шуп прикоснулся к коже запястья. Ландер почувствовал, как металл нагревается, фокусируя энергию на крошечном участке. Короткая вспышка боли — не физической, скорее электрической, пронзившей руку от пальцев до плеча, заставившей мышцы произвольно сократиться. Запахло паленым — горел биополимер, из которого состоял чип. А потом всё кончилось. Чип перестал существовать. Вместе с ним перестали существовать имя, статус, история, доступы, счета, медицинская страховка, пенсионные накопления, право на жилье, право на передвижение, право на жизнь. Всё, что делало Ландера Рэйтела гражданином, превратилось в горстку оплавленного пластика, осевшую в подкожной клетчатке.

— С этой минуты вы — лицо без идентификации, — произнес медик, убирая сканер и делая пометку в планшете. Голос у него был скучающий, будничным, словно он зачитывал инструкцию по эксплуатации бытового прибора. — Въезд в сектора с уровнем доступа «Альфа» и «Бета» вам запрещен под страхом немедленной нейтрализации. Системы слежения настроены на ваши биометрические параметры — лицо, походка, рисунок сосудов сетчатки, спектральный анализ голоса. Любая попытка пересечь границу сектора будет зафиксирована, и к вам будут применены меры вплоть до физического устранения. Любая попытка контакта с действующими сотрудниками Института или членами их семей будет расценена как нарушение режима изоляции. Срок действия данного постановления — пожизненно.

Пожизненно. Слово упало в сознание, как камень падает в стоячую воду — тяжело, неотвратно, уходя на дно и оставляя на поверхности лишь расходящиеся круги. Круги разбежались медленно, лениво, не желая соединяться в единую картину. Пожизненно. Ему тридцать четыре года — по современным меркам, далеко не старость. Впереди могли быть еще сорок, пятьдесят, шестьдесят лет жизни. И все эти годы — без имени, без статуса, без права на существование. Пожизненно. Он больше не существует. Он — пыль на ветру, которую несет куда попало, пока она не осядет где-нибудь в грязи и не смешается с ней навсегда.

Двери раздвинулись. Наружный шлюз — последний барьер между стерильным миром Института и внешней реальностью. В лицо ударил воздух — холодный, пахнувший гарью, пере-

работанным пластиком, озоном от работающих фильтров и чем-то еще, чему Ландер не мог подобрать названия. Запах бедности? Запах отчаяния? Запах свободы — той самой, которая не имеет ничего общего с романтическими представлениями, а является лишь отсутствием выбора?

Он сделал шаг. Потом еще один. Бетонная площадка пандуса была шершавой, с выбоинами и трещинами, в которых скопилась серая пыль. Сзади с шипением сомкнулись створки — тяжелые, герметичные, способные выдержать прямое попадание снаряда. Они отрезали прошлое с той же неумолимостью, с какой гильотина отсекает голову. Гул вентиляции стих, сменившись гулом ветра, гонявшего пыль и мелкий мусор по пустынному пандусу.

Ландер стоял на бетонной площадке, сжимая в руке жалкий пластиковый пакет с личными вещами. Смена белья — два комплекта, казенные, с инвентарными номерами. Старая фотография родителей — единственная, которую он сохранил после их смерти во время эпидемии легочной чумы десять лет назад. Блокнот с заметками — тот самый, бумажный, который он вел из чистого анахронизма, потому что привык доверять бумаге больше, чем цифровым носителям. Блокнот каким-то чудом не попал под конфискацию — то ли его просто не заметили за пазухой, то ли посчитали не представляющим ценности. Действительно: кому могут пригодиться каракули безумного ученого, расшифровать которые не смог бы никто, кроме него самого? Ландер пользовался собственной системой записи — смесью химических формул, математических символов и стенографических значков, изобретенных еще в студенческие годы. Сейчас эта система могла спасти ему жизнь. Или погубить окончательно — если кто-то всё же догадается, что блокнот содержит не просто заметки, а ключ к проекту «Грань».

Голову ему тоже едва не аннулировали. В буквальном смысле. Процедура глубокой нейронной зачистки — нейтрализация памяти, избирательное стирание участков коры головного мозга, отвечающих за хранение определенной информации, — была стандартной практикой для особо опасных преступников. Она требовала санкции Совета Безопасности, сложного оборудования, недель подготовки и последующей реабилитации. Видимо, Совет решил, что Ландер Рэйтел не настолько опасен, чтобы тратить на него такие ресурсы. Или просто пожалел бюджет — нейронная зачистка стоила дорого, а бюджет у Совета Безопасности был не бесконечным. Или — и эта мысль обожгла хуже сканера, потому что в ней было больше правды, чем хотелось признавать, — им было всё равно. Они считали, что без поддержки Института, без лабораторий, без доступа к оборудованию и реагентам, без команды единомышленников и без финансирования он ничего не сможет. Пустышка. Отработанный материал, который можно выбросить на свалку без всяких последствий.

И в этом была своя жестокая логика. Что он мог сделать в одиночку? Синтезировать реагенты из мусора? Собрать секвенатор ДНК из консервных банок? Провести клинические испытания на добровольцах, которых еще нужно найти в нижних секторах, где каждый борется за выживание и никому нет дела до научных прорывов? Это звучало как безумие. Как сюжет плохого голофильма, где герой-одиночка в подвале собирает машину времени из подручных материалов. Но Ландер знал то, чего не знали они: настоящая наука не зависит от оборудования. Она зависит от знания. А знание — здесь.

Ветер бросил в лицо горсть пыли, смешанной с мелким песком. Ландер закашлялся, прикрывая рот рукавом, и поднял воротник куртки. Куртка была старой, с потертыми рукавами, сломанной молнией и выцветшим логотипом Университета на спине. Он хранил ее не из сентиментальности — хотя и из нее тоже, — а потому, что она была единственной вещью, связы-

вающей его с тем временем, когда всё только начиналось. Когда он был не ведущим научным сотрудником, не лауреатом премий, не угрозой общественной безопасности — а просто студентом, жадно впитывающим знания и верящим, что наука способна изменить мир к лучшему. Тогда будущее казалось прямым и светлым коридором, в конце которого виднелась открытая дверь. Теперь дверь захлопнулась. И не просто захлопнулась — ее заварили, замуровали, засыпали землей.

Он спустился с пандуса и пошел прочь от здания Института. Оглянувшись на мгновение, он увидел его целиком — огромный купол из серого металлопластика, возвышавшийся над сектором «Альфа», словно рукотворная гора. Купол был спроектирован лучшими архитекторами Консорциума: идеальная полусфера диаметром в полкилометра, покрытая фотоэлектрическими панелями, которые генерировали энергию для всего комплекса. Внутри, под этой скорлупой, располагались лаборатории, офисы, конференц-залы, зимние сады, спортивные комплексы — целый город, живущий своей жизнью и не замечающий того, что происходит снаружи. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись такие же купола — жилые, промышленные, административные, — соединенные крытыми переходами-артериями, по которым текли потоки людей, грузов и данных. Единый организм, в котором каждый элемент выполнял свою функцию, каждая клетка знала свое место, и ничто не нарушало отлаженной работы системы.

В этом мире не было ничего лишнего. Эстетика функционализма, возведенная в абсолют: прямые линии, серые тона, минимум декора, максимум эффективности. Даже деревья здесь были не настоящими — бионические имитации, которые поглощали углекислый газ и выделяли кислород эффективнее природных аналогов втрое. Даже трава на газонах — синтетическая, не требующая полива и стрижки, приятная на ощупь, но лишенная запаха. Даже люди — во многом взаимозаменяемые, классифицированные по индексу социальной полезности, распределенные по секторам в соответствии со способностями и лояльностью.

И в этом мире больше не было места для Ландера.

Он шел, не разбирая дороги. Ноги сами несли его по серым плитам мостовой, мимо редких прохожих, которые скользили по нему равнодушными взглядами и тут же отворачивались. Здесь, в переходной зоне между секторами, еще сохранялось подобие порядка: плиты были целыми, фонари горели, кое-где даже работали информационные табло, транслирующие сводки погоды и социальный индекс секторов. Но чем дальше Ландер отходил от Института, тем заметнее становились перемены. Плиты сменялись потрескавшимся асфальтом, потом — утрамбованной землей. Фонари попадались всё реже, многие были разбиты. Информационные табло исчезли вовсе. Запах гари усиливался, к нему добавлялись новые ноты — гниющих отходов, невымытых тел, дешевого синтетического топлива для автономных генераторов.

Он остановился на границе. Позади остались огни «Беты» — ровные, стерильные, расчерченные по линейке, подчиненные строгой геометрии функционального дизайна. Впереди начиналась «Гамма» — хаотичное скопление времянок, палаток, ржавых контейнеров, приспособленных под жилье, самодельных хижин из всего, что попадалось под руку. Тусклые лампы раскачивались на проводах, протянутых между покосившимися столбами, — электричество здесь было ворованным, подключенным к магистральным сетям «Беты» через кустарные отводки. Где-то плакал ребенок — надрывно, захлебываясь, тем особенным плачем, который бывает только у голодных младенцев. Где-то лаяла собака — живая, настоящая, не бионический имитатор для богатых. Собачий лай звучал странно, почти архаично, напоминая о временах, когда животные еще были частью человеческой жизни, а не экспонатами в зоо-

парках для высших секторов. Из распахнутой двери заведения с кривой вывеской «У Гроша» пахло кислым пивом, потом, мочой и чем-то сладковатым — то ли дешевым табаком, то ли наркотической смесью, популярной в нижних секторах.

Вот он, новый мир. Его мир. Отныне и навсегда.

Ландер перешагнул невидимую черту, отделявшую порядок от хаоса, и сразу почувствовал, как изменился сам воздух. Дело было не только в запахах — их спектр расширился, стал богаче, разнообразнее, но и в чем-то более тонком, трудноопределимом. Возможно, в плотности — здесь воздух был гуще, тяжелее, пропитанный испарениями человеческого существования. Возможно, в температуре — на градус или два выше, чем в кондиционированных переходах «Беты», потому что тепло выделяли тела, сгрудившиеся на небольшом пространстве. А возможно, в электрическом заряде — в «Гамме» постоянно ощущалось какое-то фоновое напряжение, словно в воздухе были разлиты невидимые частицы тревоги, агрессии, отчаяния.

Никто не обратил на него внимания. В «Гамме» не принято было интересоваться чужаками — здесь каждый носил свою историю за пазухой и не лез в чужие. Больше того: здесь не принято было вообще смотреть друг на друга дольше необходимого минимума. Прямой взгляд мог быть воспринят как вызов, как агрессия, как приглашение к конфликту, и не факт, что вы выйдете из этого конфликта живым. Закон нижних секторов был прост и жесток, как всё, что рождается на грани выживания: не задавай вопросов, не привлекай внимания, не показывай слабость. Хочешь жить — будь невидимым. Хочешь умереть — будь заметным. Ландер знал это теоретически, из отчетов Службы Социального Мониторинга, которые иногда попадали в его лабораторию по ошибке. Теперь предстояло выучить на практике.

Он прошел мимо группы людей, сидевших вокруг костра, разведенного прямо в железной бочке из-под топлива. Их было пятеро — четверо мужчин и одна женщина, все в лохмотьях, которые когда-то, возможно, были вполне приличной одеждой. Они негромко переговаривались, передавая друг другу мятую жестяную кружку, из которой поднимался пар. Что они пили — воду, чай, спирт, — Ландер не мог определить, да и не хотел. Один из мужчин — самый крупный, с лицом, изрытым шрамами, — поднял голову и скользнул по Ландеру взглядом. Быстрым, оценивающим, как сканер на кассе. Взгляд задержался на пакете, на куртке, на лице — на мгновение, не дольше. Мужчина что-то беззвучно прошептал — то ли себе под нос, то ли соседу — и снова отвернулся. Вердикт был вынесен: угрозы не представляет, ничего ценного при себе не имеет, можно не обращать внимания.

Ландер брел дальше, чувствуя себя так, словно попал в чужой сон. Нет, не в сон — в документальный фильм о жизни низших секторов, который он когда-то видел в студенчестве и с тех пор старался забыть. Там показывали примерно то же самое: грязь, нищету, покосившиеся лачуги, людей с потухшими глазами. Но одно дело — смотреть на экран, сидя в теплой аудитории, и совсем другое — идти по этой земле, вдыхать этот воздух, ловить на себе эти взгляды. Одно дело — абстрактно знать, что где-то там, за границей секторов «Альфа» и «Бета», живут люди, выпавшие из системы. И совсем другое — стать одним из них.

Он шел, сам не зная куда. Ноги несли его по извилистым улочкам, которые, казалось, не подчинялись никакой логике — они петляли, раздваивались, упирались в тупики, поворачивали под немыслимыми углами. Никакого плана, никакой геометрии — только хаос, рожденный отсутствием регулирования. Здесь каждый строил где хотел и как хотел, и в результате получалось нечто среднее между муравейником и свалкой. Лачуги лепились друг к другу,

наращивая этажи из подручных материалов, громоздились одна на другую, создавая причудливые архитектурные гибриды. Где-то в качестве стены использовался борт списанного грузового контейнера, где-то — лист ржавого металла, где-то — просто натянутая ткань, хлопающая на ветру.

В этом лабиринте легко было потеряться — и в прямом, и в переносном смысле. Ландер уже потерялся: он не знал, где находится, не знал, куда идти, не знал, что делать. Единственное, что он знал — нужно найти укрытие на ночь. Ночь в «Гамме» была опасным временем: с наступлением темноты на улицы выходили те, кто предпочитал не показываться при свете дня. Мародеры, наркоторговцы, вербовщики подпольных шахт, охотники за органами — слухи о них ходили даже в «Бете», обрастая жуткими подробностями. Ландер не знал, сколько в этих слухах правды, и проверять не собирался.

На его счастье, он наткнулся на относительно целое здание — трехэтажную коробку из серого бетона, которая выглядела так, словно ее построили еще до Коллапса и с тех пор ни разу не ремонтировали. Выбитые окна зияли черными провалами, облупившаяся штукатурка свисала клочьями, обнажая ржавую арматуру, крыша местами провалилась. Но стены стояли, и это было уже кое-что. Над входом висела покосившаяся табличка, на которой еще можно было разобрать выцветшие буквы: «ОБЩЕЖ...» — дальше шла ржавая клякса, скрывшая окончание слова.

Он толкнул дверь — она поддалась с противным скрипом, от которого заныли зубы. Внутри пахло плесенью, карболкой, мочой и чем-то сладковатым — тем же запахом, который он чувствовал снаружи, но здесь он был гуще, концентрированнее. Длинный коридор уходил в темноту, освещенный лишь тусклой лампочкой у входа. Вдоль стен тянулись ряды дверей — некоторые закрытые, с навесными замками, некоторые распахнутые настежь, открывающие взгляду убогие интерьеры. Из одной доносился надрывной, захлебывающийся кашель — такой, какой бывает при запущенном туберкулезе или химическом поражении легких. Из другой — обрывки разговора, приглушенные, неразборчивые, но по интонации можно было понять, что разговаривающие то ли спорят, то ли торгуются.

— Новенький? — раздался скрипучий голос откуда-то сбоку, и Ландер вздрогнул от неожиданности.

В полумраке коридора, привалившись плечом к косяку одной из дверей, стояла женщина. Ее возраст было невозможно определить — ей могло быть и сорок, и семьдесят, и любое число между этими цифрами. Жизнь в «Гамме» старила быстро, и морщины здесь появлялись не от смеха, а от ветра, грязи и постоянного стресса. Лицо женщины было изборождено глубокими складками, седые космы выбивались из-под грязного платка, повязанного кое-как, а глаза — выцветшие, блекло-голубые — смотрели с цепкостью, неожиданной для такого изможденного лица.

— Новенький, — повторила она, не дождавшись ответа. — Вижу. Печать еще не стерлась.

— Какая печать? — не понял Ландер. Он инстинктивно провел рукой по лбу, словно ожидая нащупать там что-то инородное.

— Та, что на лбу, — усмехнулась женщина, обнажая беззубые десны. — У вас, верхних, она светится. У кого ярче, у кого тусклее, а у тебя — как прожектор, за версту видать. Не проходило и дня, как вышвырнули?

Ландер промолчал, не зная, что ответить. Отрицать было бессмысленно — эта странная женщина видела его насквозь. Подтверждать — значит признавать свое поражение, а он еще не был готов к этому. Поэтому он просто стоял и молчал, надеясь, что она примет его молчание за согласие.

— Можешь занять седьмую комнату, — сказала она, правильно истолковав его колебания. — Там до тебя один жил, да помер третьего дня. Сердце, кажется. Или почки — не помню. Вещички его я выкинула, заразу побрызгала хлоркой, так что не бойся, не подцепишь ничего. Плата — три порции в неделю. Не жратвой — так отработкой. Умеешь что-нибудь? Руки вон вроде не из задницы растут.

Ландер посмотрел на свои руки — ладони ученого, с длинными, чувствительными пальцами, без единой мозоли, с аккуратно подстриженными ногтями. Когда-то эти руки держали пробирки с реактивами стоимостью в годовую зарплату техника, настраивали прецизионное оборудование, набирали на клавиатуре последовательности геномов. Что они умели теперь? Синтезировать протеиновые цепи? Рассчитывать геномные последовательности? Моделировать регенеративные процессы на суперкомпьютере?

— Я... — он запнулся, понимая всю нелепость своего ответа, но другого у него не было. — Я умею считать.

— Считать? — Женщина расхохоталась — хрипло, с присвистом, тем смехом, который бывает только у тех, кто давно потерял способность смеяться по-настоящему. — Считать он умеет! Математик, значит! Архимед! Тут, милочка, каждый считать умеет — порции до следующей получки, дни до получки, часы до закрытия раздачи. Ты мне другое скажи: делать что умеешь? Железки чинить? Проводку тянуть? Фильтры менять? Крышу латать, когда дождь? Драться, если кто на твое место позарится?

Ландер молчал, опустив голову. Каждый ее вопрос был как удар — не сильный, но точный, бьющий в самое уязвимое место. Он не умел ничего из перечисленного. Он никогда не держал в руках паяльник, не лазил по крышам, не дрался — даже в школе, даже в юности, когда драки были обычным способом выяснения отношений. Он всегда был книжным червем, ботаником, тем самым «Рэйтелом, который видит то, чего нет». И вот теперь это обернулось против него.

— Научусь, — тихо сказал он наконец.

— Ну-ну. — Она перестала смеяться и вдруг посмотрела на него почти с сочувствием — тем особым, горьким сочувствием, которое бывает у людей, слишком много повидавших на своем веку. — Все вы так говорите. Все вы, верхние, когда вас сюда вышвыривают. «Научусь», «справлюсь», «я еще покажу им». А потомдохнете под забором через месяц. Или через два, если повезет. Потому что здесь, милочка, не институт. Здесь дипломы не кормят.

Она помолчала, разглядывая Ландера так, словно прикидывала, сколько он протянет. Потом вздохнула — тяжело, как вздыхают люди, уставшие от чужих проблем.

— Ладно, иди. Комната седьмая, по коридору налево. Запомни: если надумаешь буяннить или красть — вышвырну в два счета, не посмотрю, что ты из верхних. У меня тут порядок, не то что снаружи. И еще: не свети своими знаниями. Здесь за умных знаешь что бывает?

— Что? — спросил Ландер, хотя уже догадывался.

— А ничего хорошего, — отрезала она. — Иди давай, пока я добрая.

Он кивнул и пошел по коридору, считая двери. Третья, пятая, седьмая. Дверь была приоткрыта, из щели тянуло холодом и запахом хлорки. Ландер толкнул ее и вошел.

Комната оказалась крошечной — метров шесть, не больше. Узкая койка с продавленным матрасом, колченогий стол, придвинутый к стене, одинокий стул с надломленной ножкой, покосившийся шкаф без одной дверцы. И окно — единственное, что здесь было от прошлой, цивилизованной жизни. Большое, во всю стену, но затянутое не стеклом, а мутной пластиковой пленкой, сквозь которую внешний мир виделся размытым, искаженным, словно под водой. На подоконнике лежалдохлый таракан — видимо, наследие предыдущего жильца, которое смотрительница пропустила при уборке.

Ландер опустился на койку. Пружины жалобно скрипнули под его весом, и этот звук почему-то показался ему самым печальным из всех, что он слышал за сегодняшний день. Даже печальнее, чем звук захлопнувшейся двери Института. Даже печальнее, чем шипение сканера, уничтожавшего чип. Потому что скрип пружин был звуком поражения. Звуком конца. Звуком точки, поставленной в конце длинной главы, за которой не следовало ничего.

Он поставил пакет с вещами на пол и долго сидел неподвижно, глядя в мутное окно, за которым медленно угасал оранжевый отсвет фильтров. Мысли текли вяло, обрывочно, как осенние листья по воде — кружились, сталкивались, уплывали в темноту, не оставляя следа. Его предали. Его изгнали. Его уничтожили. Всё, чему он посвятил жизнь, обратилось в пыль, в прах, в ничто.

Но странное дело — вместе с болью и отчаянием, которые, казалось, заполнили всё его существо, в груди зарождалось что-то еще. Что-то маленькое, едва заметное, как искра в золе, которую ветер раздувает в пламя. Злость. Нет, не так — ярость. Холодная, расчетливая, аналитическая ярость, которая не имеет ничего общего с истерикой или бессильной злобой на судьбу. Ярость ученого, у которого отняли инструмент, но не отняли знание. Ярость человека, которому сказали «ты никто», но который точно, до последней молекулы, знает, кто он такой.

Они думают, что уничтожили его исследования. Они ошибаются. Все данные здесь — в этой голове, которую они посчитали недостаточно опасной, чтобы тратить ресурс на сканирование. Все формулы, все последовательности, все результаты опытов, все протоколы испытаний — они впечатаны в память намертво, нейрон за нейроном, синапс за синапсом. Ландер Рэйтел никогда не доверял безотказности техники — за пятнадцать лет работы он видел слишком много отказов систем, сбоев баз данных, потерь информации из-за случайных ошибок. Поэтому он выработал привычку хранить резервные копии в единственном по-настоящему надежном месте. В собственном мозгу. И теперь эта привычка могла спасти не только его — она могла изменить всё.

Он еще вернется. Не ради мести — месть была эмоцией, а эмоции были плохими советчиками, он знал это лучше многих. Ради истины. Ради того, чтобы доказать, что они были неправы. Что запреты, которыми они опутали науку после Коллапса, — это не защита человечества, а его медленная, мучительная смерть. Что без развития, без движения вперед, без преодоления границ, установленных испуганными предками, вид обречен — не на мгновенную гибель, так на долгую, растянутую на поколения деградацию. Что человечество, отказавшееся от познания, — уже не человечество, а лишь его оболочка, биомасса, ждущая своего часа.

Ландер лег на койку, не раздеваясь, только скинув ботинки. Пружины скрипнули еще раз, устраиваясь под его телом, а потом затихли. Он закрыл глаза и попытался представить будущее — не то будущее, которого он хотел, а то, которое теперь было возможно. Картина получалась мрачной. Выживание в нижних секторах — на грани голода, болезней, насилия. Постепенная потеря себя, своих знаний, своих целей — потому что среда имеет свойство перемалывать людей, стирая всё лишнее, всё, что не помогает выжить здесь и сейчас. Возможно, через год или два он уже не будет помнить формул — они сотрутся, вытесненные более насущной информацией: где достать еду, как избежать патрулей, кому можно доверять, а кому нет.

Но возможно и другое. Возможно, он сумеет сохранить себя. Возможно, найдет способ продолжить работу — не здесь, не сейчас, но когда-нибудь потом, когда подвернется случай. Возможно, «Гамма» — не конец пути, а лишь перевалочный пункт, остановка на обочине, с которой рано или поздно удастся вернуться на дорогу.

Эта мысль была тонкой, как нить, и такой же непрочной. Но Ландер ухватился за нее обеими руками, потому что больше ухватиться было не за что. Потому что без этой нити осталась только темнота — глухая, беззвездная, бесконечная.

Где-то за стеной заплакал ребенок — тот самый, чей голос он слышал с улицы. Теперь, вблизи, плач звучал еще более надрывно, еще более безнадежно. Ребенок плакал долго, минут двадцать, а потом затих — то ли уснул, обессилив, то ли получил наконец то, чего требовал. В коридоре слышались тяжелые шаги — кто-то из жильцов возвращался после ночной смены на подземных шахтах или в перерабатывающих цехах. Шаги звучали устало, шаркающе, с той особенной тяжестью, которая бывает у людей, вымотанных до предела. В бочке на улице догорал костер, бросая дрожащие оранжевые тени на облупленные стены общежития. Тени двигались, жили своей жизнью, и в их танце было что-то завораживающее, почти гипнотическое.

Вентиляция больше не гудела. Здесь ее просто не было — воздух поступал через щели в рамах и открытые форточки, и от этого тишина казалась оглушительной. Ландер вдруг поймал себя на том, что скучает по этому гулу — ровному, предсказуемому, успокаивающему. Там, в Институте, гул был гарантией того, что всё работает, всё под контролем, всё идет по плану. Здесь тишина была гарантией только одного — что ты один, и никто не придет на помощь.

Тишина и пыль. Пыль на ветру, которой он стал. Пыль, которую несет куда попало, пока она не осядет где-нибудь в грязи. Но пыль — странная субстанция. Она может быть ничем, пустотой, прахом. А может собраться воедино, спрессоваться под давлением, превратиться в камень, в скалу, в нечто, способное противостоять урагану. Кем он станет — пылью, развеянной по миру без следа, или камнем, о который споткнется Система? Этого Ландер пока не знал. Но твердо решил, что выбор будет за ним, а не за теми, кто вышвырнул его за дверь.

Он не знал, сколько времени это займет. Не знал, хватит ли сил. Не знал даже, доживет ли до завтрашнего утра — в конце концов, болезни в «Гамме» косили людей не хуже пуга, а иммунитет у него был ослаблен долгими годами в стерильной среде. Но одно он знал точно, с той абсолютной, непоколебимой уверенностью, которая свойственна только людям, прошедшим через полный крах и нашедшим в себе силы встать: Ландер Рэйтел еще жив. И пока он жив, точка в этой истории не поставлена. Запятая — возможно. Многоточие — вероятно. Но не точка.

За окном, затянутым мутной пленкой, занимался рассвет. Первый рассвет в новой жизни. Или последний рассвет в старой — Ландер еще не решил, как к этому относиться, да и не время было принимать такие решения. Рассвет в «Гамме» был не похож на рассветы в «Альфе». Там солнце вставало над куполом Института, окрашивая серый металлопластик в оттенки розового и золотого, и этот свет казался обещанием нового дня, полного открытий и свершений. Здесь рассвет был серым, пыльным, почти неотличимым от заката. Солнце с трудом пробивалось сквозь вечную завесу смога, висящую над нижними секторами, и его лучи были тусклыми, размытыми, словно даже небесное светило не хотело смотреть на то, что творится внизу.

Ландер смотрел, как этот тусклый свет медленно ползет по облупленной стене, стирая тени ночи, обнажая трещины в штукатурке, пятна плесени, грязь, которую темнота милосердно скрывала. Он ждал. Чего — он и сам не мог бы сказать. Может быть, знака — какого-то намека свыше на то, что всё будет хорошо. Может быть, чуда — внезапного пересмотра приговора, возвращения в Институт, восстановления статуса (хотя умом он понимал, что этого не будет никогда). Может быть, просто очередного удара — одного из тех, к которым пора было привыкать, потому что в «Гамме» удары сыпались градом и уворачиваться от них было бесполезно.

Но удара не последовало. Последовало утро — обычное, серое, наполненное звуками просыпающейся «Гаммы». Кашель десятков людей, одновременно выбравшихся из своих нор и наполнивших воздух бактериями и вирусами. Ругань — утренняя перебранка соседей из-за очереди к общему туалету. Скрежет открываемых ставен, детский плач, собачий лай, шипение примусов, на которых готовили скудный завтрак. Утро, в котором не было места ни чудесам, ни знамениям, ни особым приметам. Только жизнь — грубая, неприглядная, редуцированная до базовых инстинктов, требующая немедленных действий, а не размышлений.

Ландер встал с койки, чувствуя, как ноют мышцы — с непривычки спать на продавленном матрасе. Подошел к окну. На подоконнике всё так же лежалдохлый таракан, успевший за ночь покрыться тонким слоем пыли. Ландер аккуратно смахнул его на пол — почему-то ему показалось важным сделать это самому, словно этот простой жест был первым шагом к обустройству нового мира. Затем прижался лбом к холодной пленке, вглядываясь в утреннюю жизнь переулка.

Внизу, в сером утреннем свете, уже копошились люди. Продавцы раскладывали свой нехитрый товар на импровизированных прилавках — куски пластика, старые схемы, ржавые детали, что-то похожее на еду в мутных пластиковых контейнерах. Дети бегали между лотками, шныряя под ногами у взрослых, что-то выкрикивая на своем, особенном языке «Гаммы» — смеси уличного жаргона и технических терминов, понятных только местным. Старуха в лохмотьях, с лицом, напоминающим печеное яблоко, рылась в мусорном контейнере, извлекая оттуда то, что могло пригодиться — обрывки проводов, пластиковые бутылки, куски пенопласта. Где-то дальше, в глубине улицы, слышался ритмичный стук — наверное, работала какая-то подпольная мастерская, производящая контрафактные детали для фильтров или генераторов.

Никому из этих людей не было дела до вчерашнего ведущего научного сотрудника Центрального Института Прикладной Бионики. Они просто не знали, кто он такой. А если бы и знали — вряд ли бы это что-то изменило. В «Гамме» ценились не звания, а умение выживать. Не дипломы, а сила. Не знания, а связи.

Да и был ли он на самом деле тем, кем себя считал? Может, всё, что случилось до вчерашнего дня — лишь сон, морок, наваждение, галлюцинация, порожденная переутомлением? Может, он всегда жил здесь, в этой камере, а лаборатория, Институт, коллеги, конференции, премии — всё это привиделось ему в горячечном бреде?

Нет. Ландер тряхнул головой, отгоняя эти мысли. Он помнил всё. Помнил запах стерильных боксов — смесь озона и медицинского спирта, от которого першило в горле. Помнил гул центрифуги, разгоняющей образцы до немыслимых скоростей. Помнил вкус кофе, выпитого на рассвете перед решающим экспериментом, — горький, обжигающий, с привкусом надежды. Помнил глаза Элайзы, когда она показывала ему первые результаты тестов на обезьянах, — широко распахнутые, сияющие, полные восторга и страха одновременно. Помнил холод сканера на запястье и пустоту внутри чипа, превратившегося в мертвый кусок пластика.

Он помнил всё. И этого у него не отнять. Никому.

Ландер отошел от окна, надел куртку, проверил, на месте ли блокнот — тот был надежно спрятан во внутреннем кармане, — и вышел в коридор. Старуха-смотрительница сидела на том же месте, у двери своей камеры, словно не сходила с него всю ночь. То ли она вообще не спала, то ли встала задолго до рассвета — привычка, выработанная годами. При виде постояльца она ослабилась беззубым ртом.

— Живой? — констатировала она скорее, чем спросила. — Ну, стало быть, не всё еще потеряно. Для первого дня — уже достижение. Некоторые до утра не дотягивают.

— Что мне делать? — спросил Ландер. Он не хотел спрашивать, вопрос вырвался сам, помимо воли. Наверное, потому, что смотрительница была единственным человеком в этом новом мире, который хотя бы говорил с ним, а не просто скользил равнодушным взглядом.

— Что делать? — она хмыкнула и почесала щеку, покрытую старческими пигментными пятнами. — Иди, покрутись по округе. Посмотри, чем люди живут. Может, найдешь чего.

— Что искать? — снова спросил он.

— Себя, — ответила она и зашлась дребезжащим, надсадным смехом, от которого запершило в горле. — Себя ищи, пока другие не нашли. Ты-то себя потерял, верно? Вот и ищи. А найдешь — приходи, потолкуем.

Он не понял до конца, что она имела в виду, но переспрашивать не стал. Кивнул, поправил воротник куртки и вышел на улицу, в серое утро «Гаммы», в первый день своей новой жизни.

Солнце уже поднялось выше — настолько, насколько вообще могло подняться в этом вечно затянутом смогом небе. Света было больше, но тепла он не приносил. Ветер гонял по

улице пыль, бумажный мусор, обрывки пластика — мелкий сор, который здесь был повсюду, как вездесущая грязь. Ландер постоял на пороге общежития, втягивая носом воздух — горький, тяжелый, пахнувший гарью, потом, плесенью и чем-то еще, неуловимым, чему он пока не мог подобрать названия. Возможно, это был запах свободы. Той самой свободы, которая не имеет ничего общего с учебниками истории, а является просто отсутствием выбора.

Он зажмурился на мгновение, прогоняя остатки сна, а когда открыл глаза — мир «Гаммы» никуда не делся. Он был здесь, реальный, осязаемый, шумный и вонючий. И Ландер был частью его — хотел он того или нет.

И пошел. Просто пошел вперед, не выбирая направления, не имея цели, не зная, куда приведут его ноги. Пошел, чтобы раствориться в толпе таких же, как он, — выброшенных, забытых, списанных со счетов. Пошел, чтобы стать одним из них. Хотя бы на время. Хотя бы для виду. Пыль на ветру, которую несет куда попало.

Пыль имеет свойство накапливаться. Оседать. Собираться в комья. А комья, если их спрессовать как следует, превращаются в камень. И камень этот однажды может стать фундаментом. Или оружием. Или надгробием — смотря кто и как его использует. Ландер Рэйтел еще не знал, чем станет его пыль, но он собирался это выяснить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.